
ОЛИМП

А. Аникин

Мои знаменитые знакомые

Это воспоминания о встречах с несколькими крупными учеными-экономистами XX в. С иными из них я общался сравнительно долго и основательно, с другими — кратко и бегло. Но, думается, даже во втором случае личные впечатления могут что-то добавить к портретам людей, чьи имена принадлежат истории нашей науки.¹

Встречи, о которых я пишу, происходили на протяжении приблизительно 40 лет. Как говорится, за это время много воды утекло под мостами. В России — это время от последних лет железобетонного «культа личности» до наших растерзанных дней. На Западе — от послевоенной всеобщей веры в кейнсианство до нынешней «многополюсности» экономической идеологии. Неизбежно не только люди, но и эпоха будет действующим лицом моих воспоминаний.

Мне приятно писать об этих людях, потому что они не только большие ученые, но и яркие личности. Иначе, наверно, и быть не может. Другие напишут научные биографии и дадут анализ вклада, сделанного ими в науку и общественную жизнь. Может быть, для этих биографий окажутся бесполезными мои скромные заметки, больше толкующие о человеческих особенностях (и порой о человеческих слабостях) моих знаменитых знакомых.

О тех, кто ушел, писать, конечно, легче: они не возразят, если ошибешься и даже приврешь. К тому же они уже не могут измениться, повернуться какой-то новой стороной. А вот общественное мнение о них может очень и очень измениться. Здесь, в России, мы к этому как-то привыкли...

К счастью, иные из тех, о ком хочется написать, живы, и дай им Бог долгие годы. Я надеюсь, они простят мне возможные неточности и неизбежно субъективные суждения.

¹ Эти записки могут служить личным комментарием к справочной публикации о нобелевских лауреатах по экономике (Экономическая школа. 1991. Вып. 1; 1992. Вып. 2).

Жизнь моя сложилась так, что я довольно много встречался с учеными Запада, особенно американскими. К тому же эти люди менее знакомы российскому читателю и могут представлять особый интерес. Это отчасти объясняет круг людей, с которыми я хочу познакомить читателя.

В 1949–1957 гг. я работал в центральном государственном аппарате СССР, в Министерстве внешней торговли и Государственном комитете по экономическим связям. Однако занимался там не столько оперативной, сколько аналитической (и отчасти научно-исследовательской) работой. С 1957 г. я работаю в Институте мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО), а с 1965 г. также в Московском университете им. М. В. Ломоносова. Эти автобиографические факты могут быть существенны для восприятия некоторых деталей.

До смерти Сталина я, кажется, не видел ни одного живого американца и западного иностранца вообще. Наши понятия о западной экономической науке были весьма смутными. Выходили книги, где вместо научного анализа были одни марксистские заклинания и грубая ругань. Единственной серьезной книгой по экономической теории, изданной в русском переводе, была «Общая теория занятости, процента и денег» Дж. М. Кейнса. Ходили слухи, что она вышла в свет по личному указанию Сталина, которого якобы Черчилль спросил при одной из встреч, знают ли в России Кейнса. Может быть, это легенда, но она правдоподобна. Это не защитило, однако, переводчика книги, одного из моих учителей, проф. Николая Николаевича Любимова. В 1949–1950 гг., во время погрома так называемых космополитов, его обвинили в чрезмерных симпатиях к Кейнсу.

Эти погромные, инквизиторские собрания и заседания, которые обнажали глубину человеческой низости (и в редких случаях — высоту благородства), — самые яркие «научные» впечатления моей юности. Особенно памятен мне «суд» над Львом Абрамовичем Мендельсоном, вполне правоверным марксистом, но притом серьезным исследователем капиталистического цикла. Это было, если я не ошибаюсь, весной 1950 г. в актовом зале Института экономики АН СССР на Волхонке. Застывшее как маска, бледное до синевы лицо «подсудимого», хитроумные речи ораторов — то политически-прокурорские, то адвокатские в манере того времени: безусловно виновен, но заслуживает некоторого снисхождения... Об этом стоило бы написать подробнее, но в другой раз.

Замечу лишь одно: кто может оценить вред, «попутно» нанесенный психологии молодого поколения, входившего тогда в науку? Полагаю, этот вред ощущается в нашей экономической науке и теперь.

Вплоть до «оттепели» середины 50-х гг. очень многие считали не только бесполезным, но просто опасным читать и знать западных немарксистских экономистов и других ученых.

Конечно, я не был девственно невежествен, поскольку в приклад-

ной области (финансы и международная валютная проблема) кое-что читал. Но о других областях экономической науки знал мало.

Когда в 1954–1955 гг. я стал приобщаться к работе экономических комиссий ООН и читать их материалы, то сначала путал capital-output ratio (капиталоемкость) и input-output analysis (анализ затрат и результатов). Это, наверно, все равно, что спутать, скажем, хромосому с хромолитографией...

Саймон Кузнец (1901–1985)

Осенью 1955 г. я провел три недели в Бангкоке, столице Таиланда, на заседаниях рабочих групп Экономической комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока (теперь — для стран Азии и Тихого океана). Все это время я сидел рядом с проф. Саймоном Кузнецом, будущим нобелевским лауреатом. Тогда он преподавал в университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. Рабочая группа обсуждала итоги и перспективы развития стран региона. Уровень мышления Кузнеца и остальных участников был несопоставим. Европейские державы отделались от этого рутинного дела тем, что послали своих дипломатов, сидевших в Таиланде или соседних странах. Индия, Цейлон и еще кто-то были представлены молодыми людьми, недавно вышедшими из университетов. Нашу делегацию, состоявшую из четырех человек, возглавлял госплановский бюрократ сталинских времен, впрочем, человек по-своему неглупый и гибкий.

Когда все эти непрофессионалы запутывали какой-нибудь вопрос, слово брал — по своей инициативе или по просьбе председателя — Кузнец, скромный, деликатный человек с тихим голосом, неторопливой и четкой профессорской речью и характерной внешностью русского провинциального еврея. Никого не задевая, он быстро заменял туманные разговоры более или менее строгим анализом. Через десять—пятнадцать минут все становилось на свои места, и мы удивлялись, как мы этого раньше не понимали или не замечали. Его умение разложить сложный вопрос на простые и ясные составляющие восхищало.

Кузнец считался формально главой американской делегации. Грешным делом, думаю, ему просто захотелось съездить за казенный счет в экзотическую и далекую страну. Два других американца были чиновниками госдепартамента и активного участия в дискуссиях не принимали, а потом вовсе перестали ходить на заседания. Кузнец же исправно отсиживал долгие часы, и на нем, собственно, держалась вся конференция.

Он был вдвое старше меня и уже тогда весьма известен как ученый, так что я немного робел, чувствуя свою неготовность вести с ним серьезную научную беседу. Не могу похвастать, что обсуждал со светилом деловые циклы, распределение личных доходов или статистику

валового национального продукта — области науки, связанные с именем Кузнеця.

Меня стесняло и то, что Кузнец — эмигрант из России, хотя и первой волны. До недавнего времени считалось в принципе нежелательным иметь дело с эмигрантами: уж лучше заядлый реакционер, но природный американец или француз, чем любой либерал, но бывший соотечественник. Это прочно сидело в голове каждого советского человека, выезжавшего за границу.

Кроме того, я был членом делегации, в которой двое старших коллег не знали ни слова по-английски и не то с подозрением, не то с ревностью смотрели, как я болтаю с иностранцами. Четвертый был переводчиком и, как мне стало ясно позже, агент спецслужб. Об этом я догадался, когда меня через несколько недель после возвращения вызвал один из боссов ведомства, где я работал (Госкомитет по экономическим связям), и сказал: есть сведения, что вы неправильно вели себя за границей — отделялись от делегации и излишне интересовались женщинами. Говоря словами Владимира Высоцкого, смешно, да не до смеха. Обидно ведь и то, что, кроме разговоров на приемах и экскурсиях, решительно ничего с женщинами не было!

К счастью, время было оттепельное, в преддверии XX съезда партии, на котором Никита Хрущев похоронил Сталина в знаменитом секретном докладе. Дело было, видимо, оставлено без последствий.

Возможны ли такие вещи теперь? Не знаю. В такой грубой и глупой форме, вероятно, нет. Но не поручусь, что эти нравы остались целиком в прошлом.

Однако вернусь к Саймону Кузнецу. Мы все же настолько подружились с ним, что четыре года спустя он прислал мне предварительный вариант своей книги «Капитал в американской экономике. Его формирование и финансирование», классической работы в тогдашнем стиле Национального бюро экономических исследований. Книга вышла в 1961 г., и я вместе с С. М. Никитиным рецензировал ее в советском журнале.

Кузнец был сподвижником и продолжателем трудов Уэсли Митчелла, основателя Бюро и одного из пионеров количественного, статистико-аналитического метода экономических исследований. Ни Митчелл, ни Кузнец не были и не стремились быть идеологами. Возможно, это их большое преимущество...

Хотя Кузнец прожил после 1955 г. много лет, мне не пришлось больше лично встречаться с ним. Насколько я помню, он в СССР не приезжал, а мои американские маршруты как-то проходили мимо.

Из бангкокских бесед я помню, что он говорил о Харьковском университете, куда поступал во время гражданской войны, и о том, как бедствовал во время учебы в Колумбийском университете в начале 20-х гг. Помнится, речь шла о том, что у него была всего одна при-

личная сорочка, которую он сам стирал. Что-то в этом роде мне рассказывал и мой незначительный друг Владимир Дмитриевич Казакевич, однокашник Кузнеца по Колумбии, русский американец, вернувшийся в СССР.

Лишь много позже я понял, что Кузнец по-своему повлиял на меня, укрепив мой интерес к экономической теории и подтолкнув к переходу в академическую науку. Слушая его и беседуя с ним, хотелось стать профессором. Профессором в лучшем смысле этого слова — интеллектуальным, независимым, широко мыслящим, либеральным...

Кузнец был одним из первых экономистов, получившим Нобелевскую премию (1971 г.). Едва ли и теперь кто-нибудь из лауреатов может сравниться с ним по практическому и политическому значению исследований. Весь мир принял систему национальных счетов, которая позволяет с достаточной степенью надежности измерять экономический рост и анализировать структурные сдвиги. Кузнец был пионером в этой области. Хотя в последние годы данные о валовом национальном продукте начали публиковать в СССР и России, нашим статистикам еще долго придется учиться современным методам составления и анализа национальных счетов.

Реймонд У. Голдсмит (1904–1988)

Голдсмит популярен среди советских и российских экономистов. Его книга о национальном богатстве США вышла в русском переводе. Огромный, оригинально обработанный статистический материал его исследований обильно использован в советских работах. Надеюсь, я в какой-то мере способствовал этому своей статьей, опубликованной в 1960 г.

Когда в 1964 г. Голдсмит был в Москве, один из моих коллег сказал ему: «Вы один сделали столько, сколько у нас не сделал бы целый институт». Это не было (уже тогда) ни лестью, ни преувеличением, а ведь были еще его труды последующей четверти века!

Кратко формулируя свои научные достижения, сам Голдсмит выделил три пункта: статистическое исследование функции сбережения; оценка национального богатства методом непрерывной инвентаризации; введение серии коэффициентов, характеризующих финансовое развитие страны.

Все эти нововведения оказались плодотворны и используются теперь в теории и статистике. Впрочем, специалисты могли бы добавить к этому еще десяток пунктов.

Голдсмит как бы дополнял Кузнеца, с которым работал в тесном контакте. Кузнец больше занимался «реальным» сектором экономики, Голдсмит — финансовым. Мои коллеги в Москве в последние годы

стали вновь обращаться к его трудам, поскольку теперь признано, что эффективная рыночная экономика не может вырасти без полноценной системы финансовых посредников, рынков и инструментов.

Особенно важен тот вклад, который внес Голдсмит в исследование длительных тенденций развития экономики США, в объяснение того сложного процесса, который сделал эту страну промышленным и финансовым гигантом. Позже он попытался подвергнуть такому анализу экономический рост Японии, но эта его работа осталась, мне кажется, почти незамеченной.

Поскольку моя докторская диссертация была посвящена кредитной системе США, я пристально изучал его труды о процессах сбережения (накопления денежного капитала) и о финансовых институтах, аккумулирующих, преобразующих и инвестирующих этот капитал. Голдсмит был для меня настолько важен, что я написал «для уяснения вопроса самому себе» 100-страничный реферат его книг 50-х гг. Он был для меня образцом научной добросовестности, и я старался хоть немного «соответствовать» ему.

По внешности Голдсмит составлял контраст Кузнецу: это был рослый, экспансивный, очень энергичный человек. Помню, весной 1964 г. я зашел за ним в отель в Москве, чтобы отвезти его в наш институт, и он категорически отказался ехать на такси, сказав, что хочет почувствовать себя рядовым москвичом. Так мы и добирались: троллейбусом и пешком.

Это был не «тихий», а, напротив, очень «громкий» еврей. В любой беседе он немедленно захватывал лидерство, заставляя всех остальных слушать его и отвечать на его четкие и резкие вопросы. В Москве он пытался разобраться в советской финансовой статистике, но, кажется, мало преуспел в этом.

Как и Кузнец, Голдсмит был в США иммигрантом, только не из России, а из Германии. Советский большевизм и германский нацизм соединили силы, чтобы отправить в Америку не только талантливых физиков и математиков, но и экономистов...

В хмурый ноябрьский день 1980 г. я поехал из Нью-Йорка поездом в Нью-Хейвен повидать Голдсмита, который был в это время профессором эмеритус (нечто вроде нашего профессора-консультанта) в Йельском университете. Молодая леди из Айрекса (International Research and Exchanges Board), опекающего советских ученых в США, посоветовала мне взять такси, чтобы доехать от станции до университета. Подобно Голдсмиту, я отказался от такси и пошел пешком, узнав из городского плана, что расстояние — не более мили. Скоро я понял, что она имела в виду: я шел мрачной и безлюдной индустриальной пустыней, а редкие прохожие вызвали не столько облегчение, сколько страх.

Как бы то ни было, я благополучно добрался до здания экономиче-

ского факультета, который размещался в какой-то старой вилле, купленной в свое время университетом. Поднявшись по скрипучей деревянной лестнице, я оказался на «голубятне» и открыл дверь в небольшую комнату с низким потолком. Вероятно, при старых хозяевах это была комната прислуги. На полках и на полу громоздились горы книг и бумаг, а у низкого окна за столом сидел сильно постаревший эмеритус. Он писал в это время очередную книгу о сравнительных финансовых структурах и компоновал свои необъятные таблицы.

Голдсмит незадолго до этого овдовел, и казалось, что следы одиночества и небрежения видны на его лице и в одежде. Впрочем, возможно, это было только частью впечатления от его пыльного, с мертвой тишиной убежища.

Но старик был полон жизни, замыслов и... желчи. Когда я упомянул кого-то из видных экономистов, Голдсмит вдруг принялся его язвительно поносить. После этого я остерегался называть имена.

Зашел разговор о том, какие учреждения я посетил. Когда выяснилось, что у меня не нашлось времени побывать в одном исследовательском центре, Голдсмит стал резко ругать меня. Это можно было бы, пожалуй, принять за грубость, если бы я не знал его двадцать лет. Поэтому я только усмехнулся про себя, пообещал исправить ошибку (впрочем, в тот раз так и не успел) и перевел разговор на другую тему.

Думаю, желчность Голдсмита проистекала не только из его характера, возраста и личных обстоятельств. Профессура была склонна недооценивать его труды и заслуги. Это я замечал в разговорах с некоторыми учеными. Он был действительно одержим статистикой, верил в абсолютную доказательность цифры, мало интересовался чистой теорией, не знал и не применял серьезную математику. Все это делало его уязвимым для критики и иронии. Едва ли он заслуживал это.

Рой Ф. Харрод (1900–1978)

После смерти Кейнса (1946 г.) Харрод остался, можно сказать, старейшиной британских экономистов. Монументальная биография Кейнса и новаторские работы в области экономической динамики, опубликованные им в последующие годы, утверждали этот его статус. Он искал ответ на коренной вопрос макроэкономики: какие условия обеспечивают устойчивый экономический рост и что мешает такому росту.

Кейнс стал к концу жизни лордом (членом парламента). Харрод довольствовался титулом баронета, давшим ему право именоваться «сэр». Не знаю, как он относился к этому, но полагаю, что с некоторым юмором.

Во второй половине 50-х гг. группа энтузиастов в Москве организовала и, что важнее, «пробила» через этажи цензуры издание в русском

переводе серии трудов наиболее значительных западных экономистов. Среди них была книга Харрода «К теории экономической динамики». В ней ставилась задача разработать на послевоенный период стратегию экономического роста, исключаящую характерную для 30-х гг. депрессию и стагнацию.

Харрод был доволен тем, что его издали в Москве (это он сам мне говорил). Позже он интересовался возможностью перевода другой его книги — о международных финансах. Я хлопотал об этом в издательствах, но безуспешно.

Книги западных экономистов снабжались предисловиями, одно из предназначений которых состояло в том, чтобы «нейтрализовать» влияние автора на советского читателя. Эти предисловия писались по определенному рецепту, который дозировал анализ и критику. В предисловии к «Экономической динамике» Харрод был назван твердолобым консерватором. Но кто-то устно перевел это место Харроду, не знавшему русского языка, не правильным английским эквивалентом *diehard*, а возможным вариантом *tough-headed, tough-scullled*. Вместо *принципиального* консерватора (кстати, Харрод до войны был активным либералом) он был назван *тупым* (тупоголовым) консерватором.

Когда в 1965 г. Харрод приехал в Москву, первое, что я услышал от него на встрече с советскими учеными, был шуточный, но и обиженный вопрос: я не отрицаю, что я теперь консерватор, но почему тупой? Не помню, кто и как отвечал ему. Может быть, никто и никак.

Иностранцы склонны думать, что Московский университет — это русский Гарвард или Кембридж, и стремятся побывать там, встретиться с профессорами и студентами. Мне трудно судить о естественных науках (хотя я знаю, что мои друзья — физики и биологи — скептически восприняли бы такое утверждение). Но общественные науки в Московском университете пришли за сталинские и постсталинские десятилетия в полный упадок, стали жертвой догматического марксизма, гонения на всякое инакомыслие, всеобщего конформизма. Отрыв советской экономической науки от мировой достиг на экономическом факультете университета крайних размеров и сохраняется до сих пор.

Аудитория, собравшаяся на лекцию в старом, классической архитектуры здании университета напротив Кремля (с тех пор экономический факультет дважды переезжал в новые здания), была совершенно не готова к теме и языку лекции. К языку — буквально. Когда переводчик безнадежно запутался в формулах и условиях роста и публика стала терять терпение, я попробовал взять на себя его обязанности. Совместными с лектором усилиями нам удалось довести дело до более или менее благополучного конца.

Мы должны были встретиться с Харродом летом 1973 г. на симпозиуме, посвященном 250-летней годовщине рождения Адама Смита, в

родном городе шотландского мудреца — Керколди. Этому помешали советские бюрократы и секретные службы, решившие, что ехать мне туда не следует (причем за несколько дней до отъезда), поставив меня в весьма неловкое положение перед организаторами конференции во главе с сэром Роем.

В опубликованной стенограмме симпозиума Харрод говорит, что «весьма типичным образом» отказ русского участника выяснился очень поздно, а обращение в Академию наук с просьбой заменить его кем-либо осталось без ответа.

Многие советские ученые могли бы рассказать о подобных неприятностях. Говорят, был такой анекдотичный случай. Двое молодых ученых получили приглашение на какую-то конференцию по проблеме, в которой они были специалистами и имели работы. Сомневаясь, что Академия наук пошлет, а КГБ и ЦК пропустят их одних (как людей непроверенных), они попросили организаторов конференции прислать приглашение также директору института и секретарю партийного комитета, хотя те были далеки от этой проблемы. Накануне предполагаемого отъезда выяснилось, что эти два начальника поедут, а молодых ученых «зарубили» (такой был — да и есть — «технический термин»).

После эпизода с симпозиумом в Шотландии, успешно прошедшим без меня, наши отношения с Харродом расстроились, а через несколько лет он умер.

Сэр Рой Харрод был джентльмен. Не только внешне — характерный тип пожилого английского джентльмена с несколько старомодными манерами. Но и по своему духовному и культурному облику. В Москве, среди людей, чуждых ему по взглядам и навыкам, он сохранял неизменный такт и юмор. Сейчас я перечитал стенограмму симпозиума в Керколди, где он председательствовал, и по его репликам живо представил себе его. Если бы я был там, наверно, мог бы рассказать теперь что-нибудь интересное. Ведь на симпозиуме выступали с докладами проф. Гэлбрейт, председатель Федеральной резервной системы Артур Ф. Бернс и другие заметные люди.

Человеческая жизнь имеет много определений. Одно из них: жизнь есть цепь потерь и упущенных возможностей...

Дж. Кеннет Гэлбрейт (р. 1908)

В дореволюционной России было такое выражение — «властитель дум». Не просто умный и талантливый человек, притом писатель, публицист, ученый, а непременно либеральный, критичный в отношении властей и показывающий молодежи какой-то новый путь. Это связано со специфически русским понятием интеллигенции как особой общественной группы, призванной вести нацию вперед.

Проф. Гэлбрейт, может быть, максимальное американское приближение к этому русскому типу.

Со времени московского издания «Нового индустриального общества» (1969) Гэлбрейт, безусловно, самый читаемый у нас американский экономист. После этого советские издательства выпустили еще три его книги. Кажется, ни один западный ученый с ним в этом отношении сравниться не может.

Конечно, Гэлбрейта издают потому, что читатели охотно покупают его книги. Он имеет заслуженную репутацию лучшего писателя среди экономистов и лучшего экономиста среди писателей. Но в СССР это было далеко не самое главное, во всяком случае до недавних пор. Главным было отношение советского истеблишмента, партийного идеологического руководства к автору и книге.

Американский либерал Гэлбрейт устраивал советский истеблишмент как критик западного образа жизни и капитализма США. То, что он талантливый критик, увеличивало его ценность.

Было в советском политическом жаргоне такое выражение для определенного типа западных интеллигентов: «друг Советского Союза». Проф. Гэлбрейт был по меньшей мере близок к тому, чтобы быть зачисленным в эту категорию.

Впрочем, дело обстояло совсем не так просто. Вокруг издания «Нового индустриального общества» и книги «Экономические теории и цели общества» (русское издание — 1976 г.) шла борьба, и, насколько мне известно, потребовался весь авторитет тогдашнего директора ИМЭМО Николая Николаевича Иноземцева, чтобы преодолеть сопротивление советских консерваторов, соратников тогдашнего главного идеолога Суслова. Они-то никогда не были в восторге от Гэлбрейта: хоть критик, но твердый сторонник капитализма и отнюдь не воспеватель советского «реального социализма». Советские «правые» вообще легко смыкаются с американскими, а к последним Гэлбрейт всегда относился с сарказмом и неприязнью.

Сторонники издания книг Гэлбрейта понесли потери: обе книги вышли с двусмысленным грифом «Для научных библиотек», что означало ограниченный тираж и отсутствие их в свободной продаже. Правда, я имею эти тома, хоть и не являюсь научной библиотекой. Каждый год я даю их взаймы одному из своих студентов в Московском университете, и он готовит для семинара доклад об идеях Гэлбрейта. Обычно это лучший студент, и дискуссия иногда получается очень живая.

Каждая из книг Гэлбрейта содержит оригинальные, свежие, парадоксальные идеи. Многие проблемы и понятия, введенные и разработанные им, актуальны не только для «западной», но и для «восточной» экономики, и теперь больше, чем раньше: уравнивающая сила, техноструктура, плановая и рыночная система. И многое другое.

Гэлбрейт — человек, который знает толк в юморе. Не уверен, помнит ли он такой эпизод. Лет пятнадцать тому назад, будучи очередной раз в Москве, он читал лекцию в Институте США и Канады. Последовали вопросы. Встал один мой немолодой коллега (немного старше лектора) и на очень плохом английском языке спросил: «Профессор Гэлбрейт, к какому направлению буржуазной политэкономии Вы себя сами относите?».

Никогда ни до, ни после этого я не видел, чтобы Гэлбрейт, выступая публично, показал хоть признаки растерянности. Но этот странный вопрос его, кажется, застал врасплох и он несколько секунд собирался с мыслями. Тогда Георгий Аркадьевич Арбатов, директор института, который представлял аудитории американца, сказал, широко улыбаясь: «Ну, я думаю, профессор Гэлбрейт сам составляет целое направление». Все засмеялись, и вопрос был исчерпан.

Действительно, к какому направлению относится Гэлбрейт? Наверное, к *еретическому*. Всегда против официальной, традиционной, конформистской позиции. В этом, пожалуй, и есть его главное достоинство.

Кстати, об Арбатове. В 1989–1991 гг. он выступал как Давид либеральной интеллигенции, схватившийся с Голиафом военно-промышленного комплекса (эту же борьбу всю жизнь ведет Гэлбрейт!). Всеобщее внимание привлекла публичная полемика Арбатова с ныне покойным маршалом Ахромеевым и несколькими другими генералами. Гонка вооружений выпила кровь из экономики и из народа, но создала могущественную и многочисленную касту военных и производителей оружия. Известное предвидение президента Эйзенхауэра об опасности военно-промышленного комплекса сбылось у нас больше, чем в США.

Противники без стеснения обвиняли Арбатова в том, что он стал смелым в эру Горбачева, а при Брежнев и двух промежуточных правителях помалкивал и поддакивал власти имущим. От этого отравленного оружия трудно защищаться: очень многие из нас вели себя так, и, конечно, Арбатову есть в чем себя упрекнуть.

Но я хочу рассказать эпизод, проливающий некоторый свет на этот вопрос. В 1974 г. в Тбилиси состоялась очередная Дартмутская встреча представителей науки, бизнеса, средств массовой информации СССР и США. Перед встречей советскую делегацию, в которой было человек 40–45, собрали в Москве во Всесоюзном комитете защиты мира. Заместителем председателя этой квазиобщественной организации, монополизировавшей значительную часть контактов с границей, был журналист-ястреб Юрий Жуков.

Он и Арбатов каким-то не совсем ясным образом делили между собой обязанности руководителей делегации. Первым взял слово Жуков и доверительно сообщил, что он беседовал о предстоящей встрече с

самим генеральным секретарем Брежневым, который якобы дал указание проявить жесткость, дать отпор, отстаивать позиции. Все приуныли: невеселое дело — давать отпор и т. д.

Тогда встал Арбатов и (тоже сославшись на Брежнева!) сказал нечто противоположное: искать компромиссы, договариваться о совместных действиях и инициативах.

Каковы были на самом деле указания Брежнева (и были ли они вообще) — осталось нам неизвестным. Разумеется, на деле все следовало программе Арбатова, а не Жукова.

Вернемся к Гэлбрейту. У него дома в Кембридже, штат Массачусетс, я был лишь однажды — 3 ноября 1980 г. Дата эта знаменательна тем, что на следующий день были президентские выборы, принесшие большую победу Рейгану и Бушу. А Эдвард Кеннеди вновь баллотировался в Сенат от Массачусетса. Хозяин провел со мной около часа и, извинившись, сдал меня на руки м-с Гэлбрейт, а сам уехал на встречу с сенатором.

Моя рука тонет в громадной лапше Гэлбрейта. Он начинал трудовую жизнь на родительской ферме в Онтарио (Канада), а в колледже среди прочих предметов изучал слесарное дело. Говорит, что и теперь может сам справиться с несложным ремонтом водопровода.

Старый гостеприимный дом. Фотографии американских политических деятелей с дарственными надписями, портреты м-с Гэлбрейт. Задерживаюсь взглядом на забавном дружеском шарже. Долговязый (более 190 см) Гэлбрейт с характерной бровастой и носатой физиономией возвышается над приземистыми Адамом Смитом и Карлом Марксом, положив правую руку на голову первому, левую — второму. Мы со смехом обсудили этот рисунок, который мне очень понравился. А месяца через полтора я получил в Москве его копию, которая и сейчас передо мной. Гэлбрейт не забыл и позаботился — это меня, конечно, очень тронуло. Я подумал: едва ли подобная любезность пришла бы в голову нашему соотечественнику.

Прежде чем распрощаться, Гэлбрейт подарил мне свою — тогда новейшую — книгу «Записки убежденного либерала» (в следующем году журнал «Мировая экономика и международные отношения» опубликовал мою рецензию на эту работу). Она содержит, в частности, несколько автобиографических фрагментов, предвосхищающих более позднюю и изданную также в русском переводе «Жизнь в наше время». Ясное дело, Гэлбрейту есть что рассказать. Он был высоким государственным чиновником при президенте Франклинe Рузвельте, был и остается близким другом семьи Кеннеди, знал всех видных экономистов XX в., с иными из них вел упорную идейную войну, отстаивая идеалы американского либерализма — активную социальную деятельность государства, ограничение промышленного и финансового монополизма.

В книге этой есть эпизод, который Гэлбрейт раньше рассказывал нам в Москве и который ныне забавно актуален в свете появившихся на свет документов о тотальной слежке в бывшем СССР за потенциальными диссидентами. Правда, у Гэлбрейта речь идет не о КГБ, а о ФБР. Опираясь на новое законодательство, он в конце 70-х гг. затребовал у этого аналога нашей охраны копию своего досье. Он обнаружил, что за ним следили еще с 40-х... Нашелся там факт, подобный истории с тыняновским поручиком Кижее. Еще в 1946 г. некий конгрессмен, давая в устной форме агенту ФБР оценку взглядам Гэлбрейта, назвал его доктринером (*doctrinaire*). Не очень грамотный агент записал это как «доктор Уэр» (*doctor Ware*). После этого в течение 20 лет в официальных бумагах ФБР фигурировал некий доктор Уэр, опасный подрывной элемент, каким-то загадочным образом связанный с Гэлбрейтом.

В годы горбачевской перестройки советская печать часто печатала Гэлбрейта, когда он писал о проблемах СССР. Как обычно, все, что говорил и писал маститый ученый на эту тему, было умно и дельно, нередко — остроумно, и читают его с интересом. Освободить экономику от идеологии, преодолеть косность бюрократии и претензии военно-промышленного комплекса, вводить рыночную экономику с социальной защитой — все это нам близко и понятно.

Гэлбрейт предостерегал в свое время от «шоковой терапии» — от резкого перехода к рынку со скачкообразным повышением цен и вероятным ростом безработицы.

В последние годы я его в нашей печати что-то не вижу: то ли не пишет, то ли у нас его не печатают.

(Окончание следует)